Главной темой нашей переписки был, конечно, вопрос о выработке миросозерцания. В детстве мы никогда не отличались религиозностью. Нас брали в церковь, но в маленькой деревенской церкви торжественное настроение народа производит гораздо более сильное впечатление, чем сама служба. Из всего того, что я слышал в церкви, лишь две вещи произвели на меня впечатление: чтение в страстной четверг «двенадцати евангелий» и молитва Ефрема Сирина, которая действительно прекрасна как по простоте, так и по глубине чувства. Пушкин переложил ее, как известно, в стихи:

Владыка дней моих! Дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей...

Еще раз у меня шевельнулось чувство вроде религиозного - это когда мы с Ульяной, нашей няней, вышли рано утром к заутрене в страстную пятницу. Утренний холодок, замерзшие лужицы, весенний воздух и встающее солнце - все это создавало какое-то особое настроение. Но что тут было главное - заутреня или поэзия природы? Заутрени я вовсе не помню, но помню и воздух, и замерзшие лужицы, и весеннее солнце - точно живая страница из Тургенева в природе.

Вообще православная церковная служба в маленьких церквах, и особенно в деревнях, обставлена так, что производит в ней впечатление не сама служба, а, скорее, молящийся народ. В Никольском, например, священник торопится (нужно бежать на покос), отжаривает с поразительной скоростью царскую фамилию, которую при Николае I приходилось отчитывать четыре раза во время обедни с начала до конца, заканчивая королевой Нидерландской Анной Павловной (королеву «Меделянскую», как мы тогда говорили).

Рыжий пономарь, когда ему приходилось сорок раз подряд говорить «господи помилуй», жарил так, что на всю церковь так и раздавалось «помело-с, помело-с». А дьячок Иван Степанович, с копной никогда не расчесываемых седых волос на голове, с соломой и репейником в волосах и в бороде, поет «Иже херувимы», а сам в это время найдет кусок сухой баранки в налое и грызет ее среди пения: «Иже хе-хе-хе (проглотит) ру-ви-и-и-и-мы», а потом вытаскивает какое-то насекомое из бороды и давит: «...тайно о-бра-зу (хлоп его) у-ю-ще» и т. д.

Ну, да и в Москве бывало не лучше. Уж на что «выразительно» служил у Успенья на могильцах Ипполит Михайлович Богословский-Платонов. И певчие превосходные, и сам так выразительно произносит слова, и даже проповеди читал. Все дамы из Старой Конюшенной ходили к нему. А между тем однажды, когда он выносил дары и дьякон пыжился, бася «благочестивейшего, самодержавнейшего!..», Ипполит Михайлович, заметив, что рослый лакей загородил одну из наших красавиц близ амвона, густым отчетливым шепотом сказал ему: «Куда лезешь, болван! Ступай назад!»

Да и вообще вся обедня с «дарами», которые считаются «телом господним», и «херувимами», и с вычитыванием тут же царской фамилии всегда коробила меня. Когда служат соборне и каждый священник своим голосом - один басом, другой гнусавым голосом, третий старческим шепотом - наперерыв друг за другом бормочет: «...и супругу его, благочестивейшую... и великого князя такогото» и так далее без конца, - все это вызывало во мне отвращение, и я видел в этом только одну смешную сторону.

Впоследствии в Петербурге я бывал несколько раз в католической церкви, но меня поразила там театральность и отсутствие истинного чувства. Впечатление это было еще сильнее, когда я видел простую веру какого-нибудь отставного польского солдата или же крестьянки, молившихся в дальнем углу. Заходил я также и в протестантскую церковь; но когда я вышел оттуда, то поймал себя на том, что шептал стихи Гете:

«..., пожалуй, этим

Вы угодите дуракам и детям:

Но сердце к сердцу речь не привлечет

Коль не из сердца ваша речь течет.»

Александр в то время с обычным пылом увлекся лютеранством. Он прочел книгу Мишлэ о Сервете и составил себе собственную веру по образу этого знаменитого антитринитария. С энтузи-азмом изучил он Аугсбургскую декларацию, которую перевел и прислал мне; наши письма тогда переполнены были рассуждениями о благодати и цитатами из посланий апостолов Павла и Якова. Я слушал брата, но богословские беседы не особенно глубоко интересовали меня. Я стал читать книги совсем другого характера, когда оправился от тифа.

Лена была тогда уже замужем, жила в Петербурге, и по субботам вечером я отправлялся к ней. Муж ее имел порядочную библиотеку, в которой находились энциклопедисты и лучшие произведе-